

Поражение как победа: Нарратив о Крымской войне и историческая память в Российской империи второй половины XIX века¹

Кирилл Зубков

Если открыть современный школьный российский учебник истории, можно найти краткое и совершенно неточное описание событий Крымской войны 1853–1856 гг. Россия (примечательно, что авторы избегают именовать государство Российской империей) оказывается фактически жертвой, вынужденной «вести войну не только против Турции, но и против всех крупных держав Европы, сплотившихся с единой целью — разрушить систему международных отношений, в которой со времен Венского конгресса Россия играла решающую роль»². Несмотря на активные действия флота противника на Балтике, в Баренцевом и Белом море и на Тихом океане, «нападения были успешно отражены русскими гарнизонами, попытки высадить десанты успеха не имели»³. Напротив, «главные события войны развернулись в Крыму»⁴, где в течение многих месяцев продолжалась «героическая оборона Севастополя»⁵. Причиной поражения стало технологическое отставание России, проявившееся в отсутствии современной военной техники, а следствием — начало реформ: «...сохранение крепостного права ведет к отсталости страны»⁶. Другой популярный учебник не педалирует статус России как жертвы, зато еще яснее увязывает поражение в Севастополе

1 This article has received funding from the European Research Council (ERC) project NON-WESTLIT under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (Grant agreement No. 950513).

Благодарим А. О. Паршутич, В. Г. Соболева, А. А. Шурухину и Е. А. Ящук за щедрую помощь в работе над статьей. Часть работы была написана во время стажировки в Slavic-Eurasian Research Center, которая была бы невозможна без доброжелательного отношения и усилий его сотрудников. Анонимные рецензенты высказали исключительно ценные замечания, позволившие уточнить ключевые тезисы и дополнить библиографию.

2 История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. С. 92.

3 Там же. С. 93.

4 Там же.

5 Там же. С. 94.

6 Там же. С. 115.

с последующими реформами: «Крымская война заставила российское общество задуматься о необходимости реформ»⁷. В статье мы покажем, что этот общераспространенный в России исторический нарратив сложился в литературных произведениях, воспоминаниях, письмах и других высказываниях современников, стремившихся осмыслить происходившие на их глазах события и вписать их в логичную и внутренне последовательную сюжетную конструкцию. Именно он стал основой до сих пор актуальной исторической памяти о войне.

Нарратив об исторических событиях Крымской войны, в целом сложившийся еще до окончания боевых действий, интересен в двух отношениях. Во-первых, он объясняет набор представлений, которыми руководствовались представители светского русскоязычного образованного общества 1860–1870-х гг. Во-вторых, эта конструкция дает яркий пример мифологизации прошлого, происходящей в процессе перехода от индивидуальной памяти к социальной. Изложение событий войны не просто недостоверно с точки зрения современных взглядов на историю — это неудивительно, — но противоречит даже личному опыту наблюдавших войну своими глазами людей, которые активно участвовали в создании и распространении этого исторического нарратива. В первую очередь нас будет интересовать не искажение определенных эпизодов боевых действий на Крымском полуострове, а практически полное исключение из повествования о войне других театров военных действий, в том числе такого значительного, как Балтийский. Как кажется, наиболее значимой частью нарратива о войне для образованных русскоязычных обитателей империи стало столкновение с Англией и Францией, на фоне которого вполне успешные военные действия против Османской империи (а также сложная история противостояния европейским союзникам на Тихом океане) оказались забыты.

Статья разделена на три части. В первой кратко характеризуется методология и источниковая база исследования, во второй описаны результаты работы своеобразного механизма забвения, вытеснившего из исторической памяти угрозу нападения английского флота на Санкт-Петербург, в третьей рассматривается нарративная схема, в которую современники включили события Крымской войны и которая предполагала, что неизбежным следствием войны должны стать реформы. Критически подходя к этому нарративу, мы демонстрируем его искусственный характер и многочисленные незаметные опасности и уязвимые точки, которые он скрывает.

⁷ Соловьев К. А., Шевырев А. П. История России. 9 класс. Учебник. 1801–1914. М.: Русское слово, 2022. С. 102.

1. ПАМЯТЬ О КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ И ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Обсуждая соотношение индивидуального исторического опыта и мифологизированного повествования о прошлом, мы отталкиваемся от влиятельных работ Алейды Ассман. Исследовательница писала, что в рамках исторической памяти «нарративы становятся мифами, важнейшими свойствами которых являются убедительная сила и мощное аффективное воздействие. Подобные мифы отделяют исторический опыт от конкретных условий его формирования, преобразуя его во вневременные повествования, которые передаются от поколения к поколению»⁸.

В качестве основных источников для нашего исследования окажутся прежде всего тексты, циркулировавшие в рамках публичной сферы, то есть печатавшиеся в журналах, распространявшиеся в многочисленных копиях или хотя бы отражавшие позиции людей, чья позиция могла повлиять на общественное мнение, сложившееся в кругах светски образованных людей⁹. Прежде всего речь в статье пойдет о представителях публичной сферы — литераторах, высокопоставленных чиновниках, журналистах¹⁰. С помощью современного понятийного аппарата их можно было бы назвать «элитами» российского общества, если бы это понятие было применимо к Российской империи с ее сословной стратификацией. Разумеется, можно было бы проводить более сложную дифференциацию: например, понятно, что славянофильски настроенные авторы или священники уделяли намного больше внимания религиозной составляющей войны, которая официально началась именно из-за стремления Николая I защитить обитавших в Османской империи христиан. Однако общий нарратив, который нас интересует, в том числе понятая в христианском духе проблема жертвоприношения, объединил, как мы покажем, представителей самых разных течений в русской мысли,

8 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 38.

9 Разумеется, невозможно исчерпать все или хотя бы большинство источников по этой теме в рамках одной работы. Крымской войне в общественном сознании и литературе посвящена обширная литература, в том числе недавняя монография М. Федотовой (см. ссылки далее).

10 Проблема публичной сферы в Российской империи в последние десятилетия обсуждается многочисленными исследователями (см., напр.: *Несовершенная публичная сфера: история режимов публичности в России* / сост.: Т. Атнашев, М. Велижев, Т. Вайзер. М.: Новое литературное обозрение, 2021). Это понятие кажется нам удобным аналитическим инструментом. В то же время мы предпочитаем не использовать его в нормативном смысле, то есть сравнивать российскую публичную сферу с неким «правильным» положением вещей.

от радикального демократа Николая Некрасова до панслависта Михаила Погодина.

Конечно, нельзя сказать, что у других групп не было своего мнения о войне: как мы покажем далее, созданный светскими образованными людьми нарратив неожиданным образом оказался отчасти близок, например, к представлениям русских крестьян о последствиях войны. Тем не менее мы сосредоточимся именно на взглядах людей, получивших вестернизированное образование и активно участвовавших в производстве письменных текстов. Причинами станут, во-первых, наличие достаточного количества источников, позволяющих судить о мнениях этих людей, а во-вторых, непосредственное влияние, оказанное ими на развитие русскоязычного публичного дискурса о Крымской войне, который во многом до сих пор определяется нарративными и риторическими стратегиями XIX века.

В статье литературные произведения будут обсуждаться наравне с другими текстами, такими как записки на политические темы, воспоминания, дневники. Такой подход мотивируется активным участием литературы в создании социального воображаемого, включая память об историческом прошлом¹¹. Прямые связи между историческим повествованием и литературным вымыслом отмечалась неоднократно¹². Однако нас будет больше интересовать не сходство нарративных структур, а то, каким образом характерные, казалось бы, для вымышленной литературы сюжетные ходы и культурно нагруженные образы формируют историческую память, а через нее — и представления общества о себе самом и о возможном пути дальнейшего развития. В этом смысле ориентиром для нас стали работы Андрея Зорина, где демонстрируются параллели и взаимные влияния между литературными произведениями и политическими решениями государственных деятелей, правда, более раннего периода¹³. К середине XIX века механизмы подобных взаимосвязей, конечно, сильно изменились: теперь влиятельные чиновники, известные писатели, популярные журналисты и многие другие не воспринимали себя как представителей единого общества, которое собиралось при дворе, в аристократических салонах или полуофициальных объединениях наподобие Беседы любителей русского

11 См., например, *Хирш М.* Поколение постпамяти: письмо и визуальная культура после Холокоста / пер. с англ. Н. Эппле; ред. Л. Любавина. М.: Новое издательство, 2021.

12 Подобные взгляды во второй половине XX века высказывались самыми разными авторами (см., в частности: L. Gossman, *Between History and Literature* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990); *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002).

13 См. *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

слова. Тем не менее, общее коммуникативное пространство продолжало существовать: перечисленные нами лица читали одни и те же журналы и газеты, обменивались письмами и часто встречались (например, редактор оппозиционного журнала «Современник», постоянно находившийся в конфликте с цензурой поэт Николай Некрасов регулярно играл в карты на большие деньги с высокопоставленными чиновниками¹⁴). Собственно именно это и делает возможным обсуждение единой, пусть и недостаточно развитой, публичной сферы в Российской империи.

В научной литературе репрезентация и мифологизация Крымской войны рассматривались по преимуществу в связи с многочисленными описаниями обороны Севастополя, которой действительно посвящены наиболее известные литературные произведения, включая «Севастопольские рассказы» Льва Толстого¹⁵. В наиболее значимой для нас работе С. Плохи, анализируя миф о героической обороне Севастополя как средство легитимации претензий российского государства на территорию Крыма, отмечает такие его черты, как описание героического самопожертвования народа и конструирование образа национальных героев наподобие адмирала Нахимова и в то же время критику государственной системы управления¹⁶. В отличие от предшественников, нас интересуют прежде всего не описания крымской кампании или обороны Севастополя, а нарратив о войне в целом, сформировавшийся в рамках публичной сферы 1850-х гг. и во многом сохранившийся до сих пор, в том числе значимые умолчания о событиях, развернувшихся на других театрах военных действий.

В современной военной историографии подчеркивается, что особую роль в исходе боевых действий сыграли события, разворачивавшиеся на Балтийском море¹⁷. Практически во всех без исключения литературных описаниях войны центральным ее событием становится осада Севастополя, падение которого фактически отождествляется с поражением Российской империи. Между тем в действительности захват Севастополя вовсе не означал невозможности продолжать боевые действия; он не привел ни к уничтожению российской армии, ни к вторжению английских, французских и турецких войск в глубину

14 См., например, автобиографическую заметку без заглавия: Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 13. Кн. 2. СПб.: Наука, 1997. С. 61.

15 Наиболее обширный материал рассмотрен в монографии: Федотова М. Миф о Севастопольской обороне 1854–1855 гг. в культурной памяти Российской империи. СПб.: Изд-во ЕУ СПб, 2022.

16 S. Plokhy, "The City of Glory: Sevastopol in Russian Historical Mythology," *Journal of Contemporary History* 35: 3 (2000), pp. 369–383.

17 См. прежде всего, A. Lambert, *The Crimean War: British Grand Strategy against Russia, 1853–1856. 2nd ed.* (Farnham: Ashgate, 2011); A. C. Rath, *The Crimean War in Imperial Context, 1854–1856* (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2015).

российской территории. Одно из значительных причин неудачи Российской империи в противостоянии английским и французским войскам, согласно современным работам, стало решающее превосходство британского и французского флота на море: после бомбардировок Свеаборга и Кинбурна и начала активного строительства на британских верфях кораблей, пригодных для обстрелов береговых позиций, российскому политическому и военному руководству стало понятно, что не существует возможностей предотвратить атаку на Кронштадт, а в перспективе и на Петербург. Другой серьезной проблемой стала морская блокада, сопровождавшаяся высадками английского десанта и нападениями на прибрежные деревни. Далее мы покажем, что представители российского образованного общества вполне осознавали эту угрозу, но избегали обсуждать ее, поскольку она не укладывалась в приемлемый для них нарратив о войне.

2. ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРАХИ: ЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО И БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА БАЛТИКЕ

Знаменитый актер Иван Горбунов, первый русский мастер жанра комического монолога со сцены, с юмором описывал страхи, терзавшие во время войны прозаика Алексея Писемского, недавно переехавшего в Петербург. Великий князь Константин Николаевич, командующий российским военным флотом и либеральный покровитель литераторов, пригласил Писемского и Горбунова прочитать несколько произведений вслух на борту корабля, находившегося в Финском заливе. В рассказе Горбунова постоянно подчеркивается, насколько комично выглядел его спутник, панически боявшийся короткого путешествия по морю. Писемского, в частности, пугала возможность натолкнуться на «шхеры», ненадежность парохода, который должен был доставить их на борт флагмана российской эскадры, и проч. Однако наибольший ужас Писемскому внушала перспектива нападения англо-французского флота на российские корабли. Очевидно, писатель не испытывал никакого желания оказаться в эпицентре морского сражения:

Писемский с уважением смотрел на пушки, но подходить к ним близко не решался и даже сделал мне замечание, когда я внимательно осматривал одно орудие.

— Отойди, — заметил он строго.

При входе в каюту мы были представлены молодому великому князю, который так милостиво и любезно встретил нас, что заставил позабыть всякое смущение.

<...>

Сели на палубе за длинный стол, подали чай, началось чтение. <...>
Рассказ был уже близок к концу, вдруг... глухой пушечный выстрел!

Писемский вздрогнул и побледнел; другой... третий... четвертый...

— Начали?! — произнес он простодушно, робко окинув всех глазами. Ему представилась бомбардировка.

— Это салют; к неприятелю идет пароход с моря, — успокоили его.

Пальба продолжалась, и Писемский не раньше ее окончания приступил к чтению, но начал читать двумя тонами ниже — так его поразила эта неожиданность¹⁸.

Рассказ Горбунова призван проиллюстрировать болезненную мнительность Писемского, бывшую притчей во языцех в литературном сообществе. Страх перед нападением показан как совершенно беспочвенный, а перепуганный писатель противопоставлен прекрасно владеющему собою и очень любезному великому князю. При этом военная угроза оказывается иллюзией: английская канонада становится безобидным сигналом, российские пушки так и не начинают стрелять, а мины и вовсе описаны как галлюцинация (этот вид морского оружия, изобретенный Альфредом Нобелем, был впервые использован во время Крымской войны российской стороной, однако большого влияния на ход боевых действий не оказал). В этом же духе воспринял этот очерк и мемуарист Павел Анненков, пересказавший его в своих воспоминаниях и дополнивший еще несколькими эпизодами из жизни Писемского, свидетельствовавшими о склонности писателя воображать несуществующую опасность¹⁹.

Похоже, даже сам Писемский не относился к собственному опыту всерьез и предпочитал о нем не говорить. 30 мая 1855 г. он писал Тургеневу: «Вы, я думаю, знаете из газет, что неприятельский флот близ Кронштадта и ждут бомбардирования, только вряд ли рыскнут»²⁰. Хотя Писемский и сомневался в скором нападении на Кронштадт, саму возможность бомбардировки он явно не исключал. Однако через несколько лет в публичном высказывании писатель решил избегать упоминаний об этом ожидании. Когда в 1863 г. Писемский кратко описал события Крымской войны в своем романе «Взбаламученное море», он вообще никак не высказался о событиях на Балтике, а английский флот назвал в одном ряду с турецким, намекая, очевидно, на боевые действия в Крыму. Вообще описание это в целом довольно близко к изложению событий в цитированном выше школьном учебнике: в нем встречаются и отважная оборона Севастополя, и неэффективность государственной машины, и решительные выводы относительно российского будущего:

18 Горбунов И. Ф. Из моего дневника. 1855 год // Новое время. 1881. № 1778. 20 февр.

19 См. Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 470–471.

20 Письма А. Ф. Писемского (1855–1879) И. С. Тургеневу // предисл. и публ. И. Мийе; пер. с франц., предисл. И. Мийе — М. И. Беляевой; ст. К. И. Тюнькина; коммент. И. Мийе и Л. С. Журавлевой // Литературное наследство. Т. 73. Из парижского архива И. С. Тургенева. Кн. 2. Из неизданной переписки. М.: Наука, 1964. С. 141.

Несмотря на нечеловеческое самоотвержение войска, стало, однако, сказываться, что мы не совсем военное государство; но зато государство совсем уж без путей сообщения...

<...>

В сентябре 1855 года была напечатана лаконическая депеша из Севастополя: «наши верки страдают»!

Исход дела стал для всех понятен.

Все почувствовали общее, и нельзя сказать, чтобы несправедливое, к самим себе презрение²¹.

Однако недавно введенные в научный оборот архивные документы раскрывают совершенно иную картину: ничего наивного и смешного в реакции Писемского на флот союзников не было. Любезный и спокойный великий князь Константин Николаевич в действительности считал вражеское нападение вполне реальной и очень серьезной перспективой. Тревогу великого князя разделяли и его отец, император Николай I, с самого начала войны опасавшийся нападения на столицу с моря, и его брат, во время войны взошедший на престол как Александр II²². В отличие от никогда не служившего в армии и тем более на флоте Писемского, эти люди прекрасно понимали масштаб угрозы и в течение 3 лет войны так и не смогли придумать, как предотвратить нападение вражеского флота на столицу Российской империи. Спокойствие Константина Николаевича говорило скорее не о безопасности двоих литераторов, а о самообладании великого князя.

Не выдерживает проверки и предположение, будто представители российского образованного общества, не посвященные в реальное положение дел, не осознавали масштаба угрозы. Например, реакция Николая I на появление англо-французской эскадры на Балтике была настолько сильной, что обратила на себя внимание даже лично не знакомых с ним наблюдателей. Об этом свидетельствует Авдотья Панаева:

Мы жили на даче между Ораниенбаумом и Петергофом, на берегу моря, когда неприятельская эскадра появилась около Кронштадта, и один пароход появился в туманное утро почти у самой крепости, тогда как все были уверены, что невозможно пройти, потому что фарватер был затоплен судами.

<...> Я видела, как на тройке в коляске проскакал государь Николай Павлович к Ораниенбауму и за ним несколько генералов.

У государя было мрачное выражение лица, но он с обычным величавым спокойствием смотрел по сторонам на войска, идущие по дороге.

Когда он ехал назад, его нельзя было узнать, он сидел в коляске с поникшей головой, и глаза его были закрыты, точно он спал. Бледность его лица была мертвенная²³.

21 Писемский А. Ф. Сочинения: В 4 т. Т. 4. СПб.: издание Ф. Стелловского, 1867. С. 169.

22 См. А. С. Rath, *The Crimean Wa*, pp. 21, 43, 75–76, 170–171, 191–201.

23 Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 231.

Те же воспоминания Панаевой указывают и на один из источников сведений относительно хода военных действий. Судя по всему, информацию литераторам щедро предоставлял Дмитрий Милютин — один из «либеральных бюрократов», которые после войны будут активно заниматься реформами, а в николаевскую эпоху поддерживали тесные связи с кружками писателей, ученых и других образованных людей того времени²⁴:

Из Петергофа на дачу к нам часто ездила одна компетентная личность в военном деле, Д. А. Милютин. Он был тогда еще не в большом чине. Когда его спросили — готовы ли мы к войне, которая, по ходу дипломатических отношений французского двора к русскому, была неизбежна, то Милютин отвечал: «По бумагам мы вполне готовы! Но с первых же военных действий обнаружится страшный недостаток во всем <...>».

Все предсказания Милютина, к несчастью, оправдались в Крымскую войну... Милютин постоянно бывал в кружке литераторов и пользовался общим уважением по своему образованию, а главное — по своим либеральным взглядам. Он много говорил о необходимости коренных преобразований по всем частям военного ведомства²⁵.

Воспоминания Панаевой не вполне характерны, поскольку относятся к немногочисленным примерам публичных высказываний о военной угрозе Санкт-Петербургу, существовавшей в середине 1850-х гг. В подавляющем большинстве такие свидетельства обнаруживаются в эпистолярных текстах, не предназначенных для публикации. К тому же, некоторые авторы, по всей видимости, опасались перлюстрации и не пользовались прямыми формулировками даже в письмах. 31 марта 1854 г. Тургенев писал С. Т. Аксакову: «Я здесь нанял дачу в Петергофе, чтобы быть на месте действия или, выражаясь правильнее, чтобы не слишком отдалиться от центра, куда будут приходить все известия»²⁶. О каких известиях и о месте какого действия идет речь в этом письме, догадаться трудно: по крайней мере, комментаторы этого письма в Полном собрании сочинений и писем Тургенева поясняют только адрес, по которому находилась дача писателя. Однако сопоставление с приведенными выше фрагментами из Панаевой ясно показывает, в чем дело: Тургенев хотел иметь возможность наблюдать за английским флотом и, вероятно, реакцией императора и его хорошо информированного окружения. Именно весной 1854 г. вражеские корабли впервые оказались в Балтийском море — в этом контексте упоминание «действия» выглядит прямым намеком на возможные военные столкновения.

24 См. В. W. Lincoln, *In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats 1825–1861* (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1982), pp. 80–91.

25 Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. С. 231–232.

26 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. В 18 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 2. М.: Наука, 1986. С. 289.

Другие литераторы, впрочем, выражались намного более прямо. Так, в следующем, 1855, году Тургенев, съехавший с выгодно расположенной дачи, получил письмо от Панаева, который все так же находился недалеко от Петергофа. Судя по этому письму, Панаев явно ожидал превращения окрестностей Петербурга в поле битвы (или, по крайней мере, интенсивных обстрелов) и даже соотносил его с Севастополем: «Флот стоит всё под Кронштадтом. Уже постреливали из наших канонерских лодок в приближавшиеся к север(ным) форт(ам) фрегаты... А каково последнее дело (6 июня) под Севастополем?.. Каков Хрулев?..»²⁷.

Впрочем, такое отношение разделяли далеко не только представители небольшого кружка литераторов журнала «Современник», наподобие Панаевых или Тургенева. Скажем, на тот момент еще даже не начинавший литературной карьеры Николай Добролюбов, студент столичного Педагогического института, писал родным 11 апреля 1854 г.: «...война принимает, кажется, размеры очень обширные. Скоро, говорят, с 15 апреля, Петербург будет уже объявлен в осадном положении. Около Кронштадта ходят английские фрегаты по временам, для рекогносцировки; император беспрестанно ездит в Кронштадт, в Петербурге на крайних пунктах строят батареи. Что-то будет...»²⁸. Новость показалась будущему знаменитому критику достаточно важной: он сообщал об этих событиях семье, хотя сравнительно недавно скончалась его мать, и родственники Добролюбова были, конечно, в первую очередь взволнованы отнюдь не маневрами на Балтике.

Несмотря на это, в послевоенных мемуарах, письмах и литературных произведениях упоминания о «великом страхе» жителей Петербурга остаются очень редки, хотя страх этот и был частью вполне реального жизненного опыта обитателей столицы²⁹. Воспоминания Панаевой здесь скорее исключение, чем правило. Особенно удивительна такая ситуация, если учесть, что литературное сообщество по преимуществу находилось в Петербурге (до 1856 г. в столице издавались, например, все толстые журналы, за исключением одного). Иными словами, писатели наподобие Писемского отказывались публично рассказывать о страхе, который они лично испытали. Описывая чувства, которые

27 Письма И. И. Панаева (1855–1857) / публ. А. Н. Дубовикова // Литературное наследство. Т. 73. Из парижского архива И. С. Тургенева. Кн. 2. Из неизданной переписки. М.: Наука, 1964. С. 109.

28 Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М.; Л.: Художественная литература, 1964. С. 133.

29 Используемое нами выражение отсылает к известному феномену истории революции 1789 года (см. G. Lefebvre, *The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France* (New York: Vintage Books, 1973)). Впрочем, мы бы хотели скорее подчеркнуть контрасты: если страхи французов в основном подпитывались мифами о несуществующих заговорах, то петербуржцы опасались вполне реальной угрозы. Мифологизация состояла скорее в стремлении об этом страхе забыть.

большинство ее современников пыталось так или иначе скрыть, оставить в рамках частной переписки прошлого, Панаева следовала своей мемуарной стратегии, которую исследовательница определяет как сочетание претензий на публичную роль и на полемику с устоявшимися «мужскими» представлениями об автобиографизме³⁰. В традиционных мужских воспоминаниях испуг перед вражеским флотом был востребован разве что для комической характеристики пугливого литератора. Как представляется, это было связано с новой нарративной схемой, в которой для такой памяти не оставалось места.

3. «...КОГДА ПОБЕДОНОСНОЕ РУССКОЕ ВОЙСКО ВОЗВРАЩАЛОСЬ ИЗ СДАННОГО НЕПРИЯТЕЛЮ СЕВАСТОПОЛЯ...»: ВОЙНА И РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II

Уже во время военных действий, когда неудачи российской армии стали очевидны для большинства сторонних наблюдателей, сложился доминирующий до сих пор исторический нарратив о событиях Крымской войны, одним из самых значимых субъектов которого стал русский народ. Исследователи неоднократно отмечали, что Крымская война большинством современников воспринималась прежде всего в национальных категориях. На основании анализа печатавшихся во время войны лубков Стивен Норрис пишет о формировании национального сознания, которое не сводилось к преданности престолу и царю (показательно, что Николай I на лубках военного времени почти полностью отсутствовал)³¹. Ольга Майорова отмечает, что изображение войны в русской прозе и публицистике поспособствовало разделению категорий национального и имперского в сознании образованных обитателей Российской империи: именно «народу» литераторы приписывали черты, которые ранее использовались для характеристики государства³². Чтобы подчеркнуть «народный» характер войны, российские литераторы, журналисты и издатели лубочных картинок проводили прямые

30 См. Татаркина С. В. Модель самоописания в мемуарном тексте А. Я. Панаевой // Вестник Томского государственного университета: Общественно-научный периодический журнал. Бюллетень оперативной научной информации. 2006. № 80. С. 106–115.

31 S. M. Norris, *A War of Images: Russian Popular Prints, Wartime Culture, and National Identity, 1812–1945* (DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 2006), pp. 54–79.

32 O. Maiorova, *From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870* (Madison: University of Wisconsin Press, 2010), pp. 27–41.

параллели с событиями 1812 года, а также с Польским восстанием 1830 года³³.

В попытках осмыслить войну значительную роль играет, что не удивительно для этой темы, тема жертвоприношения. Пока ход боевых действий еще не был ясен наблюдателям, на роль жертвы мог претендовать сам Петербург. Об этом свидетельствует, например, распространявшаяся в рукописных копиях записка известного московского историка Михаила Погодина «Настоящая война в отношении к русской истории», которая датируется июлем 1854 г. В отличие от цитированных выше петербургских литераторов, Погодин обитал в Москве и не испытывал особой симпатии к северной столице Российской империи: неслучайно в это время он издавал журнал «Москвитянин». В своих многочисленных выступлениях, которые он пытался довести до сведения политического руководства, Погодин предлагал придать войне национальный характер и использовать ее для превращения России в сердцевину всеславянского союза. Что характерно для панславистов, московский историк считал неизбежным последствием этого завоевание Константинополя и перенос туда столицы. Исторический путь российского государства он описывал так: «Представьте себе памятник: его качание было от Новагорода к Киеву, а потом от Киева к Петербургу. Из Петербурга размах не может остановиться нигде, кроме Константинополя...»³⁴. Из этого Погодин делал экстравагантный вывод о необходимости разрушения Петербурга во имя воссоздания империи в новом, высшем качестве. Этот вывод формулировался в не менее своеобразной форме — Погодин вступал в диалог с боеприпасами английского адмирала Чарльза Непира: «Прилетай же скорее, Непирова бомба: нам нужен сигнал переезжать на другую квартиру, променять северные болота на ту сторону, где апельсины зреют и яворы шумят. Прилетай, Непирова бомба, — ты, верно, по закону Немезиды, упадешь в министерство иностранных дел! Как мы будем благодарны тебе!»³⁵.

Однако к 1855 г., когда мечты о грандиозных военных успехах стали казаться все менее осуществимыми, на роль жертвы стал претендовать другой город — Севастополь, а вместе с ним и военные, безуспешно

33 См. Norris, *A War of Image*, pp. 55–56; Maiorova, *From the Shadow of Empir*, pp. 35–38; Федотова М. Миф о Севастопольской обороне. С. 73–98, 115–129; Степанищева Т. Вяземский о Крымской войне: слишком долгая поэтическая память // Политика литературы — поэтика власти: Сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 25–38; Федянова Г. В. Крымская война в русской поэзии 1850–х годов. Автореф. дисс... канд. филол. н. Тверь, 2008; Ратников К. В. Крымская война и русская поэзия (1853–1856 годы) // Вестник Челябинского государственного университета. 1999. Т.2. Вып.2. С. 40–60. Последняя работа, несмотря на информативность, выражает чрезмерный энтузиазм автора по поводу успехов русского оружия.

34 Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. 1853–1856. М.: тип. В. М. Фриш, 1874. С. 187.

35 Там же. С. 191.

его оборонявшие. Эта трансформация очень заметна, если сопоставить записку Погодина с другим, несколько более поздним популярным рукописным сочинением — произведением известного государственного деятеля Петра Валуева «Дума русского во второй половине 1856 года». В своем произведении Валуев описывал осаду Севастополя как жертвоприношение, пользуясь при этом религиозными категориями:

Мученик Севастополь! <...> Долго ли еще будут длиться его страдания? Неужели нет спасения, и муки неизбежно должна повенчать могила? <...> даром пролита будет кровь Корнилова, Истомина, Нахимова и тысячи их сподвижников! Даром? Разве Севастополь не Россия? Но разве там не сосредоточены теперь лучшие силы ее, лучшая слава и лучшие надежды? Разве там не сходятся нити прошлого и грядущего, и не решается вопрос, сделаем ли мы шаг назад, первый со времени Петра Великого?³⁶

Позиция Валуева представляет интерес сразу в нескольких отношениях. Во-первых, для него явно не было очевидно, действительно ли Севастополь можно назвать частью России. Из самого текста трудно сказать, почему Валуев считал нужным это доказывать: то ли потому, что опасался потери контроля над городом в результате военного поражения, то ли потому, что в его сознании Крым находился слишком далеко на периферии империи. В пользу первого предположения говорит запись в дневнике Валуева, сделанная 26 декабря 1855 г., где излагаются якобы предложенные России условия перемирия, включающие занятие Крыма «впредь до заключения мира» и «окончательное разорение Севастополя»³⁷. В пользу второго свидетельствуют параллели с письмом неизвестного православного духовного лица, явно писавшего именно о пространственной дистанции между Севастополем и Россией: «Севастополь еще не Россия, а враги, некогда, и Москву брали, да мало взяли»³⁸.

В подавляющем большинстве отзывов об обороне Севастополя внимание фокусируется на страданиях русских солдат и младших офицеров под обстрелами и нападениями противника. Это относится и к вымышленным произведениям наподобие «Севастопольских рассказов» Толстого, и к воспоминаниям и другим источникам. Одним из результатов этого процесса станет забвение о страданиях гражданского, в том числе этнически нерусского населения Крыма во время войны. Эта тема лишь

36 Валуев П. А. Дума русского (во второй половине 1855 года) // Русская старина. 1891. № 5. С. 359–360.

37 Дневник графа Петра Александровича Валуева // Русская старина. 1891. № 5. С. 347.

38 Цит. по Щербакowa М. И. Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого: духовные смыслы Крымской войны // Studia Litterarum. 2022. Т. 7. № 2. С. 171. В публикации не указаны ни авторство, ни датировка письма.

недавно стала предметом серьезных исследований³⁹. Другой очевидный результат — игнорирование того факта, что в составе российской армии были далеко не только русские, но и представители других народов империи (например, прославленного кавалера Георгиевского креста матроса Петра Кошку обычно идентифицировали как русского, хотя он был украинцем)⁴⁰. Наконец, не менее значим вообще акцент на неудачах боевых действий: скажем, последовавшее уже после сдачи Севастополя взятие российскими войсками Карса вообще не стало значимым для исторической памяти эпизодом⁴¹.

В изображении собственных военных прежде всего как жертвы войны нет, конечно, ничего неожиданного или удивительного. Если сейчас виктимизация своей стороны военного конфликта часто воспринимается критически, то для XIX века она была скорее нормой⁴². Приблизительно таким же образом, например, британские журналисты и писатели характеризовали участников войны со своей стороны. Пожалуй, в английском случае это ощущение «жертвенности» оказалось еще сильнее, чем в российском. Наиболее известным действующим лицом войны с английской стороны стала сестра милосердия Флоренс Найтингейл, а не солдаты или генералы. В Российской империи некоторые военные, такие как адмирал Нахимов или генерал Корнилов, были героизированы, причем, что показательно, все эти военачальники погибли в ходе боевых действий⁴³. Несколько позже оформилась и легенда о героической русской сестре милосердия Даше⁴⁴. К тому же, Крымская война дала Российской империи первого известного военного врача — Н. И. Пирогова (ни одной сравнимой фигуры не появилось, например, в ходе наполеоновских

39 См. M. Kozelsky, *Crimea in War and Transformation* (New York: Oxford University Press, 2018); H. Kirimli, "Emigrations from the Crimea to the Ottoman Empire during the Crimean War," *Middle Eastern Studies* 44: 5 (2008), pp. 751–773.

40 См. Norris, *A War of Image*, p. 65; Федотова М. Миф о Севастопольской обороне. С. 214–217.

41 Вероятно, до некоторой степени это отношение было мотивировано вызванным войной экономическим кризисом, который остро чувствовался и после окончания боевых действий. См. Степанов В.Л. "Крымская война и экономика России," in Jerzy W. Borejsza, ed., *The Crimean War. 1853–1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals* (Warszawa: Wydawnictwo Neriton; Instytut Historii PAN, 2011), pp. 275–298.

42 О ставших очевидными уже в XX столетии проблемах, связанных с описанием себя как жертвы, см., напр.: Ассман. *Длинная тень прошлого*. С. 74–88.

43 См. Федотова М. Миф о Севастопольской обороне. С. 164–192.

44 Там же. С. 224–231.

войн)⁴⁵. Исследователи английской литературы пишут о новой концепции патриотизма, сложившейся во время Восточной войны и связанной в первую очередь со страданиями и жертвами — неслучайно наиболее известным литературным произведением о войне в английской культуре станет стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой бригады», где подчеркиваются не военные успехи, а бессмысленная гибель британских кавалеристов, тем не менее служащая победе⁴⁶. Можно отметить параллели и между русским и французским описаниями войны⁴⁷.

Однако между восприятием войны в разных странах существовали и принципиальные различия. В Британской империи Крымская кампания стала первой в истории визуализированной войной, образы которой легко и быстро доводились до читателей благодаря новейшим фотографическим и коммуникационным технологиям⁴⁸. Напротив, российский образованный читатель образов войны получал мало⁴⁹, необразованный же воспринимал ее посредством многочисленных лубочных картинок. Однако еще более очевидное различие состоит в том, чего, по мнению современников, достигли принесшие себя в жертву военные. Гибель британского моряка или французского пехотинца можно было объявить необходимым злом, которым покупается победа. В случае российских военных такая логика совершенно неприменима, поскольку общественное мнение считало результат войны поражением. Если описывать российские жертвы как жертвоприношение, то возникает вопрос, во имя чего оно совершено. С. Плохи утверждает, что такой целью стала защита российских территорий от вторжения, которое, согласно мифологизированной истории войны, было предотвращено в ходе обороны Севастополя⁵⁰. Однако в таком случае остается неясно,

45 Роль фигуры Пирогова в российском общественном сознании, насколько нам известно, еще не изучалась. Красноречивым свидетельством в пользу актуальности такого исследования служат удивительные попытки добиться его признания православным святым (см. Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, ученый, педагог, философ и религиозный мыслитель (материалы к канонизации) / под ред. Ю. А. Шевченко. М.: Историко-литературный журнал «Странник», 2020).

46 См. S. Markovits, *The Crimean War in the British Imagination* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Ср. также С. Dereli, *A War Culture in Action: A Study of the Literature of the Crimean War Period* (Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Wien: Peter Lang, 2003).

47 См. Малиновски П., Линькова Е. В. Крымская война 1853–1856 гг. в пространстве памяти России и Франции // Вестник РУДН. Серия: История России. 2021. Т. 20. № 2. С. 205–215.

48 См. U. Keller, *The Ultimate Spectacle: A Visual History of the Crimean War* (London: Taylor and Francis, 2001).

49 Исключениями оказываются немногочисленные карикатуры, которые, впрочем, пока недостаточно описаны и изучены.

50 См. Plokhly, "The City of Glory," p. 375.

почему наблюдавшие за движениями английского флота на Балтике обитатели столицы в большинстве своем не хотели вспоминать то самое обстоятельство, которое идеально бы работало на эту версию, — непосредственную угрозу нападения на Петербург. Как кажется, это связано как раз с объясняющей войну нарративной конструкцией, увязывавшей поражение в первую очередь не с действиями противника, а с внутренней политикой и ее преобразованием.

В очень многих описаниях военных действий, созданных современниками, акцент делается вовсе не на действиях неприятеля, а на некомпетентности и предполагавшемся многими наблюдателями предательстве военного и дипломатического руководства Российской империи⁵¹. Противник в этом изложении вообще чаще всего оставался за скобками: внимание фокусируется именно на «своих». Показательна в этом отношении, например, запись в дневнике В. С. Аксаковой от 6 сентября 1855 г. Известная славянофилка прямо противопоставляла французов одному из командующих российской армией Михаилу Горчакову. Как ей казалось, российский генерал был значительно вреднее для армии, чем враги, за которыми даже признавалось определенное благородство:

Надобно отдать справедливость французам, они с благородным негодованием говорят о недостатках, или лучше о совершенной неспособности, неприятельского главнокомандующего; им, конечно, выгоднее, что такой неспособный генерал командует нашими войсками, делает ошибки, губит войска без нужды, в глазах своих дает их истреблять, не посылая им подкрепления, тогда как возле него стоит резервный корпус в 30 000; но они беспристрастно возмущаются этим и, конечно, удивляются, что целая армия и судьба России вверены такому человеку. Боже мой, Боже мой, хоть бы поверили иностранным отзывам о Горчакове!⁵²

В том же дневнике можно найти и многочисленные утверждения, например, об измене министра иностранных дел Карла Нессельроде. Врагами казались и самые разные чиновники, якобы не обеспечившие войскам ни достойных медицинских условий, ни снабжения необходимыми припасами, — хотя в медицинском обеспечении российская армия едва ли принципиально уступала своим европейским оппонентам,

51 В частности, в России, как и во Франции, патриотические стихотворения и брошюры о войне быстро уступили место ее критическому осмыслению, связанному с внутреннеполитическими проблемами: так, Виктор Гюго писал о войне преимущественно в связи с ненавистным Наполеоном III (см. S. Godfrey. "La Guerre de Crimée n'aura pas lieu," *French Cultural Studies* 27: 1 (2016), pp. 1–17).

52 Аксакова В. С. Дневник / ред. и примеч. Н. В. Голицын и П. Е. Щеголев. СПб.: Огни, 1913. С. 132.

а самые основные, вероятно, проблемы логистики в Крыму возникали не из-за воровства и коррупции, а из-за рейдов английского флота⁵³.

Пожалуй, в наиболее развернутом виде эта трактовка представлена в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого, которые в имплицитном виде содержат все ту же нарративную схему, где российская армия оказывается прежде всего жертвой⁵⁴. Показателен фрагмент из последнего произведения цикла, рассказа «Севастополь в августе», где «враг» оказывается далекой и мало вовлеченной в происходящее фигурой. Намного больше внимания уделяется не действиям французских и английских войск, а приказу собственного руководства, который оказывается причиной отступления. Толстой описывает солдат и офицеров как жертв этого приказа, не понимающих его и испытывающих горечь поражения. При этом персонажи рассказов обычно оказываются не субъектами, а объектами насилия — они значительно чаще сами гибнут, чем убивают или пытаются убить кого бы то ни было:

Севастопольское войско <...> медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью; от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. <...> чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, <...> и у ополченца <...>, и у генерала <...>, и у матроса <...> и у раненого офицера, <...> и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, <...> Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимую горечью в сердце вздыхал и грозился врагам⁵⁵.

Поскольку главным врагом российской армии оказались не английские, французские или турецкие войска, а собственное начальство, целью ее жертвоприношения, по мнению современников, стала не победа на поле брани, а внутренние преобразования. Особенно удачно такое

53 См. Y. Naumova, "Russian Medical Service During the Crimean War: New Perspectives," *Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century* 20 (2015), pp. 1–12; Lambert, *The Crimean War*, pp. 247–250.

54 Оценка этого произведения в научной литературе варьируется: оно оказывается то пропагандой крымского мифа (см. Plokhу, "The City of Glory," p. 376), то решительной деконструкцией военных стереотипов (см. Федотова М. Миф о Севастопольской обороне. С. 57–73).

55 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Т. 2. М.: Наука, 2002. С. 181.

объяснение согласовалось со смертью Николая I, которая, как справедливо казалось многим обитателям Российской империи, сулила кардинальные перемены во внутренней политике. В российской читающей и пишущей публике еще до реформ сложилось убеждение, что такие преобразования оправдывают поражение на поле боя. Именно так строятся рассуждения Погодина в приведенном выше примере: нападение врага на Петербург он считал первым этапом в переносе столицы. Прямо связывал поражение в войне и реформы Валуев. Чиновник, который станет одним из крупных реформаторов, еще в 1855 г. заявлял, что после военной неудачи необходимы будут значительные преобразования:

Неужели результаты нынешней системы признаются удовлетворительными? Неужели пагубное влияние этой системы досель не доказано ни внешними неудачами, ни внутренними недостатками, ни всеобщим недоверием к нашим начальствам, ни проявляющимся ввиду нынешних событий недостатком стойкости в общем направлении умов, ни признаками безнадежности, сопровождающими повсеместную, смиренную и покорную готовность к жертвованиям? <...>. Государственные люди нашего века, в глазах народа, распределены на разряды, подобно казенным памятникам, измерены табелью о рангах, расценены ценою отличий, помещаемых в памятных книжках. Верноподданная Россия заботливо отличает их от воли царской и надеется не на них, а на Бога и на своего государя⁵⁶.

Приносящий себя в жертву во имя обновления России народ в такой логике вызывал, конечно, прежде всего христианские ассоциации. Такое осмысление войны прекрасно соотносилось с религиозными понятиями, которые сопровождали ее с самого начала. Как известно, формальным поводом к началу военных действий послужило стремление Николая I защищать права православных обитателей Османской империи. В дальнейшем российские литераторы и журналисты постоянно обращали внимание на связь военных действий и христианства. Так, бомбардировке союзного флота подвергся Соловецкий монастырь, который в целом не пострадал — это событие легко было истолковать как чудо. Особенно активные обстрелы Севастополя, более того, пришлось на Пасху и Страстную неделю, так что погибших под снарядами военных стало можно описать как святых, принимающих мученическую смерть в

⁵⁶ Валуев. Дума русского. С. 358.

подражание Христу⁵⁷. В то же время ассоциации с Христом вызывал и сам император, волей которого обновлялась Россия⁵⁸.

Литераторы приняли особенно активное участие в создании новой трактовки войны. Для них это была возможность поучаствовать в идеологическом строительстве новой эпохи — задача, до которой при Николае I писателей обычно старались не допускать. Особенно ярко новая трактовка войны выразилась в поэтических текстах. Самые разные авторы, включая не испытывавших особенного восторга перед государством, участвовали в создании своеобразного поэтического языка, пригодного для осмысления недавних исторических событий. Тема смерти и воскресения, в частности, задается в стихотворении Некрасова «Внимая ужасам войны...», которое датируется 1855 г., то есть написано во время военных действий. Некрасов пишет о скорбящих матерях, неспособных забыть «своих детей, / Погибших на кровавой ниве»⁵⁹. Используя архаический образ битвы как жатвы, Некрасов, видимо, актуализирует и мотив возрождения зерна, павшего в землю, который встречается, в частности, в Евангелиях⁶⁰. Еще более ясно образ русского народа как Христа сформулирован в поэме Некрасова «Тишина», посвященной окончанию войны, где речь идет буквально о терновом венце:

Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!⁶¹

57 См. Федотова. Миф о Севастопольской обороне. С. 129–142. В контексте религиозного отношения к территории Крыма см. M. Kozelsky, *Christianizing Crimea: Shaping Sacred Space in the Russian Empire and beyond* (DeKalb, Illinois, Northern Illinois University Press, 2010).

58 Об уподоблении Александра II Христу на лубочных картинках см. Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. Т. II: От Александра II до отречения Николая II. М.: ОГИ, 2004. С. 109–112. О постоянных ассоциациях между императором и Христом в русской поэзии конца 1850-х гг. см. Зубков К. Ю. «Солнце правды»: Метафорика поэмы Н. А. Некрасова «Тишина» и литературный контекст // *Petra philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия* (Литературная культура России XVIII века. Выпуск 6). СПб.: Нестор-История, 2015. С. 261–272.

59 Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 2. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1981. С. 14.

60 О битве-жатве см., напр., Панченко А. М., Смирнов И. П. Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX века // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXVI. Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX вв. М.: Наука, 1971. С. 46.

61 Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 4. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1982. С. 54.

Таким образом, поражение в войне оказывалось для современников тесно связано с последующими реформами, прежде всего с отменой крепостного права. Российская армия ассоциировалась с русским народом, который, как явствует из внутренней логики нарратива о войне, принес себя в жертву во имя очищения страны от пороков. Такая трактовка удачно накладывалась на распространенное среди образованных обитателей Российской империи представление о крепостном праве как о требующем искупления грехе⁶². Соответственно участие в кровопролитной войне оказалось своего рода искуплением. Более того, этот нарратив неожиданным образом во многом соответствовал представлениям самих крестьян, которые пытались добровольно участвовать в ополчении, надеясь, что это освободит их от крепостной зависимости или, по крайней мере, от самой ненавистной ее части — рекрутчины⁶³.

Благодаря ассоциациям с недавней войной сами реформы зачастую описывались современниками как своего рода боевые действия, направленные против внутреннего врага — крепостников, коррумпированных чиновников и проч. Особенно часто об этом писал Владимир Бенедиктов — некогда известный поэт-романтик, ненадолго вернувшийся к литературной деятельности. В стихотворении «Стансы» (1856) он, например, утверждал, что царь «Призывает нас к борьбе / Со злом, с домашними врагами»⁶⁴. Политический эмигрант Александр Герцен вовсе не разделял представлений Бенедиктова о значении императора, однако в следующем году описывал его положение практически теми же словами, разве что подчеркивал различие между внешним врагом и внутренними приверженцами традиций предыдущего царствования: «Искренно, от души жалеем мы Александра II, его положение действительно трагическое, не рассеять ему туман, скрывающий от него страшное состояние России, он устанет от борьбы, оттого что борьба всего труднее в безгласную ночь, да еще не с врагами, а с толпой клеветов и мошенников»⁶⁵. Литераторы, стремившиеся разоблачить таких «врагов» и поспособствовать реформам, создали целое направление в русской

62 См. I. Paperno, "The Liberation of Serfs as a Cultural Symbol," *Russian Review* 50:4 (1991), pp. 417–436.

63 См. D. Moon, *Russian Peasants and Tzarist Legislation of the Eve of Reform: Interaction between Peasants and Officialdom, 1825–1855* (New York: Macmillan Press, 1992), pp. 113–164.

64 Бенедиктов В. Г. Стихотворения / вступ. ст. Ф. Я. Приймы; сост., подгот. текстов и публ. Б. В. Мельгунова. Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1983. С. 374.

65 Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 13. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. С. 80–81. Статья «Под спудом».

прозе и поэзии — «обличительную литературу»⁶⁶. В отличие от настоящей войны, такие боевые действия могли увенчаться победой над противником: в конце концов, здесь у противника не было ни армии, ни флота.

Разумеется, в нарратив о героическом самопожертвовании русского народа, совершенном во имя реформ, угроза нападения на Петербург не укладывалась. Во-первых, несмотря на решающее значение для принимавших ключевые решения государственных деятелей, английский флот не нанес больших потерь российским войскам. «Народ» очевидным образом вообще не играл никакой роли в военных действиях на Балтике. Во-вторых, перспектива прямого нападения на столицу вызывала совершенно другую реакцию, чем осада города на периферии империи. В этом случае российское правительство во главе с императором оказывалось не одним из главных деятелей национального преобразования, а всего лишь пассивной жертвой превосходящего противника, так и не придумавшей способов ему противостоять. Наконец, сама связь между отменой крепостного права и морской бомбардировкой столицы оказалась довольно сомнительной: неясно, каким образом реформы помогли бы предотвратить эту угрозу. Российские чиновники и литераторы в большинстве своем предпочли забыть о травматичном и постыдном опыте, когда вражеский флот непосредственно угрожал Петербургу, и заменить его мифологизированной историей о победе над «домашними врагами», которой удобно было оправдать неудачную войну и понесенные в ней потери.

—

Исследователи нередко пишут о том, что поражение в Крымской войне было своего рода конструктивным опытом, способствовавшим началу реформ⁶⁷. Утверждение это, как представляется, верно лишь отчасти. Действительно в краткосрочной перспективе описанный выше исторический нарратив о войне, начавший складываться еще до ее завершения, оказался, по-видимому, существенным фактором в ходе реформ Александра II. Разумеется, невозможно утверждать, будто при другом восприятии недавней войны преобразования во внутренней

66 См. Покусаев Е. И. «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 50-х годов в оценке Чернышевского и Добролюбова // Ученые записки Саратовского государственного пединститута. Вып. V. Саратов, 1940. С. 32–54; Усакина Т. И. Статья Герцена «Very dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журналистике 1857–1859 гг. // Усакина Т. И. История, философия, литература (Середина XIX века). Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968. С. 250–290.

67 См., напр., M. Bassin, *Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 131.

политике бы не состоялись. Как отметил Дэниел Филд, убеждение, что именно поражение в войне послужило одной из основных причин отмены крепостного права, не подтверждается ни одним известным высказыванием императора или его окружения: объясняя причины крестьянской реформы, никто из них даже не пытался сослаться на военные неудачи⁶⁸. В то же время несомненно, что воспринятое таким образом поражение для многих реформаторов оказалось существенным фактором, который легитимировал их усилия по перестройке сложившегося порядка и прямо использовался в аргументации, направленной за реформы. Так, Юрий Самарин, известный славянофил и влиятельный деятель крестьянской реформы, в своей записке «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» (1856) писал именно о том, что поражение в войне с внешним врагом открывает возможность для более важной победы над врагом внутренним и для преобразования страны:

Мы сдались не перед внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бессилием. <...> Не в Вене, не в Париже и не в Лондоне, а только внутри России завоюем мы снова принадлежащее нам место в сонме европейских держав <...> Эта истина под тяжкими ударами судьбы постепенно проникает в общественное сознание, и оттого в минуты, подобные настоящей, охотнее, чем в спокойное время, выслушивается горькая правда <...> и, казалось бы, в той же мере должна возрастать решимость на всякую жертву для коренного исцеления⁶⁹.

В то же время нарратив о войне, превращавший реальное поражение в символическую победу, был чреват своеобразным реваншизмом: раз в некотором смысле война с Англией, Францией и Турцией окончилась победой, значит, Российская империя может успешно бросить вызов практически любому противнику и так или иначе достичь успеха. Сразу после войны об этом писал, например, поэт Михаил Розенгейм, прославившийся как раз стихотворными разоблачениями коррумпированных чиновников. В стихотворении «На развалинах Севастополя» он утверждал, что Российской империи противостояла вся Европа, которая в итоге проиграла, как во времена Наполеона:

68 См. D. Field, *The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855–1861* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), pp. 51–101.

69 Самарин Ю. Ф. Сочинения / изд. Д. Самарина. М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, 1878. С. 17–19. Под «местом в ряду европейских держав» имеется в виду, видимо, статус империи, осуществляющей самостоятельную колониальную политику (см. подробнее о претензиях на этот статус после Крымской войны: Bassin, *Imperial Visions*, pp. 127–135).

О, верно, — на память пришла им тогда —
 Невольно — Москва роковая!
 И с ужасом вспомнил ликующий враг,
 Спеша удалиться в смущенье;
 Что часто в России и в самых стенах
 Таится для недругов мщенье⁷⁰.

Историческая память о Крымской войне, как мы стремились показать, противоречила личному опыту и участников боевых действий, и даже столичных литераторов, наблюдавших за английскими кораблями. Опыт столкновения с европейскими державами оказался для образованных русскоязычных обитателей империи намного важнее, чем (очередная) война с Османской империей, — неудивительно, что о вполне успешной кампании против турок на Кавказе не осталось ни известных литературных произведений, ни знаменитых стихотворений. Здесь трудно удержаться от параллелей между российскими и турецким обществами — для последнего столкновение с англичанами и французами оказалось намного более значимо, чем бои с россиянами⁷¹.

Неудивительно, что и дальше эта память оказалась подвержена самым разным манипуляциям. Описание осады и сдачи Севастополя как триумфа над «домашними врагами» вызывало едкую иронию Льва Толстого, в неоконченном романе «Декабристы» описывавшего время, «когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги»⁷². Однако и сам Толстой отдаст дань схожему пониманию жертвенности в «Войне и мире» (замысел этого произведения, как известно, связан именно с работой над «Декабристами»), где Бородинская битва изображена как духовная победа и материальное поражение русского войска⁷³. Связь такого изображения прошлого с нарративом о Крымской войне пронизательно отметил Виктор Шкловский, писавший, что герои «Войны и мира» — это «люди Крымской кампании, берущие реванш в истории»⁷⁴.

70 Розенгейм М. П. Стихотворения. СПб.: тип. Артиллерийского департамента Военного министерства, 1858. С. 94.

71 См. С. Vadem, *The Ottoman Crimean War (1853–1856)* (Leiden: Brill, 2010), pp. 329–402.

72 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Т. 4. М.: Наука, 2001. С. 180.

73 Было бы, конечно, преувеличением утверждать, что такое изображение Бородинской битвы объясняется только влиянием опыта Крымской войны, однако определенные параллели трудно не заметить.

74 Шкловский В. Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.: Федерация, <1928>. С. 15.

Как свидетельствуют открывающие нашу работу цитаты из современных российских школьных учебников, мифологизированный нарратив о Крымской войне не стал достоянием прошлого и продолжает активно инструментализироваться в рамках современной «политики памяти». Разумеется, это не значит, что он был актуален всегда, — однако в XX веке он становился все более актуален, найдя отражение, в частности, в известном двухтомнике советского историка Евгения Тарле «Крымская война (1941–1944)». Представление о российских военных как о жертвах вполне описывается характеристикой исследователя исторической памяти в России: «...виктимизация истории — дело неоднозначное. <...> она легко может быть востребована манипулятивной исторической политикой и превращена в инструмент политической мобилизации»⁷⁵. Более того, некоторые авторы используют его для доказательства не потребности в радикальных реформах, а исторической роли России как жертвы происков «Запада». Подобный подход не ограничивается школьными учебниками. Исследовательница, работу которой мы цитировали выше, пишет, например, о Крымской войне как о символической победе России в религиозной войне с Европой: «Крымская война вызывает разноречивые оценки как кампания, в которой, по мнению одних, Россия потерпела поражение, а по глубокому убеждению других, явила победу несокрушимого русского духа. <...> Именно духовная брань католического мира с православной Россией лежит в основе войн и военных конфликтов Новейшего времени и находится в одной цепи с конфессиональными столкновениями за святыни Ближнего Востока»⁷⁶. Этот похожий на пародию пример (особенно сильное впечатление производит идея, что Османская и Британская империи представляли католичество) ясно демонстрирует опасность, которую представляют исторические мифы — даже те из них, которые создавались с вполне благородной целью, скажем, способствовать отмене крепостного права. Память о военном поражении благодаря им может превратиться в убеждение, будто новая война неизбежна и должна увенчаться победой, если не реальной, то символической.

75 *Копосов Н. Е.* Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 260.

76 *Щербакова.* Севастопольские рассказы Л. Н. Толстого. С. 164–165. Можно было бы привести немало подобных высказываний, однако в силу многих причин мы не хотели бы это делать.